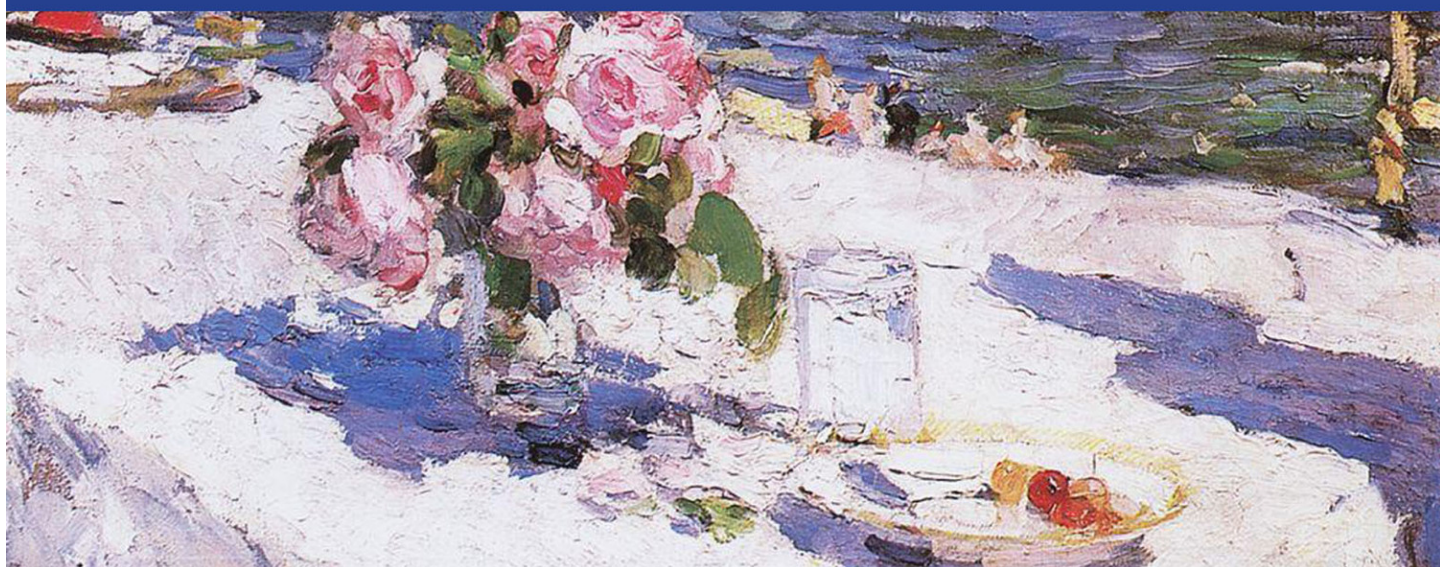




И.Грекова

Фазан

ФТМ



Ирина Грекова

Фазан

«ФТМ»

1984

Грекова И.

Фазан / И. Грекова — «ФТМ», 1984

«Федор Филатович был болен – крепко, серьезно болен. Это он сознавал. Вообще сознание у него было ясное. Даже в чем-то острее, чем до болезни. Слух тоньше. Он слышал и понимал все, что вокруг него говорили. Серьезность своего положения он вывел не столько из слов, сколько из преувеличенно бодрых лиц врачей. Их было несколько. Они появлялись и уходили. Чаще всех появлялась давно знакомая, давно лечившая его участковый врач Людмила Егоровна. Ну, какой-нибудь грипп, ангина; серьезнее он не болел...»

© Грекова И., 1984

© ФТМ, 1984

Содержание

1	5
2	9
Конец ознакомительного фрагмента.	11

И. Грекова

Фазан

1

Федор Филатович был болен – крепко, серьезно болен. Это он сознавал. Вообще сознание у него было ясное. Даже в чем-то острее, чем до болезни. Слух тоньше. Он слышал и понимал все, что вокруг него говорили.

Серьезность своего положения он вывел не столько из слов, сколько из преувеличенно бодрых лиц врачей. Их было несколько. Они появлялись и уходили. Чаще всех появлялась давно знакомая, давно лечившая его участковый врач Людмила Егоровна. Ну, какой-нибудь грипп, ангина; серьезнее он не болел. Приходила Людмила Егоровна, прописывала сульфадиметоксин. Он с нею шутил. Даша поила ее чаем с вареньем. Обходилось.

А теперь, кроме нее, приходили еще и другие в белых халатах. Трое, четверо. И все, осмотрев его, улыбались. Улыбалась, непохожая на себя, и сама Людмила Егоровна. Непривычные к улыбке щеки морщились с усилием. Даже что-то вроде ямочек на них обозначалось. "Плохо мое дело", – думал Федор Филатович, глядя на эти ямочки.

Один раз приходил даже профессор-невропатолог, местная знаменитость, глава школы всесоюзного значения. Федор Филатович знал его по фотографиям в газете (фамилию забыл). Очки, волосатые руки, дыбом стоящий колпак. Этот тоже улыбался, поигрывая стальным молоточком. Говорил с ним на "мы": "Будем принимать и поправимся". Но, уходя, слишком уж быстро сменил лицо на озабоченное и двумя-тремя словами перекинулся с Дашей. "Плохо мое дело", – снова подумал больной.

Медсестра Люся из поликлиники, делавшая ему уколы, тоже была бодра и в меру улыбаива. Поднимала вверх концом шприц, выбрызгивала лишнее, наклонясь, выбирала местечко. Глядя на нее, можно было подумать, что еще три-четыре укола – и дело пойдет на лад. Он и сам заставлял себя так думать.

Мысль о безнадежности своего положения, о том, что это, в сущности, конец, посещала его нечасто и ненадолго. Сознывая серьезность болезни, Федор Филатович не верил в свою близкую смерть. Как ни странно, он не верил в свою смерть вообще. У него было ощущение, что он по-настоящему еще не жил. Как можно кончать то, что еще не начиналось? Глупости. "Вот выздоровею – и начну", – думал он.

О своем диагнозе он догадался, слушая разговоры врачей. Вполголоса, но вполне ясно. Слово, мимоходом брошенное, было коротким и грозным. Неприятное слово. Услышав его, он вздрогнул, но не удивился. Он мог бы, пожалуй, и сам поставить себе этот диагноз. Что иначе могли означать отнявшиеся полностью ноги, почти полностью – руки? Левая еще чуть-чуть шевелилась, но ненаправленно. А самое главное – пропала речь. Он ничего, решительно ничего не мог сказать, ни одного слова.

А слышали бы они, какая складная, красивая, чудесная речь звучит у него внутри! Слова – как жемчуга на нитке, одно к одному. Вслух, в обычной жизни, он никогда так прекрасно не говорил.

Они, окружающие, наверно, думали, что он парализован не только телом, но и душой. Какое заблуждение! Знали бы они, как он там, внутри себя, умен. Как красноречив. Какие в нем бурлят чувства: любовь, раскаяние, гнев. Бурность этих чувств давала надежду на выздоровление.

Главное – гнев. Причиной гнева было не только физическое бессилие, тряпичные руки и ноги, язык, лежавший во рту, не чуя зубов, но и все окружающее. Тапки, неизвестно для чего,

по традиции, стоявшие на коврике у тахты. Завернувшийся угол скатерки. Не заведенный уже который день будильник. А главное – жена Даша, которая как будто нарочно его не понимала. И все-таки он ее любил. Он сам не понимал, любовь или гнев терзали его, когда он видел ее непричесанную, пестро-седую голову (корни волос, неподкрашенные, успели стать белыми за время его болезни); полногубый рот со следами помады, небрежно наложенной мимо губы (одно пятнышко особенно его раздражало, он все поднимал левую руку, чтобы его стереть...). И все же это была его Даша, золотой колокольчик, теперь уже постаревший, но не в этом дело: он ее любил много лет, привык любить, был ей верен душой, если не всегда телом! Последние-то годы – и телом... Он негодовал на ее старость, растрепанность, на затоптанные, по ее гнусной привычке, задники домашних туфель. Он негодовал на жизнь, которая так обошлась с Дашей да и с ним самим. Но больше всего, до иступления, раздражал его кран на кухне.

Из этого крана постоянно, днем и ночью текла вода. Текла по-разному: то громко журча, то еле подборматывая, то сочась нахальной, изворотливой струйкой. Эту перекрученную, винтообразную струйку он словно бы видел со своего непокидаемого ложа. Кран был его личным врагом, проклятием жизни.

Он был неисправен уже несколько лет, этот кран, но тогда с ним можно было сосуществовать. Не раз и не два вызывали из домовой конторы слесаря-водопроводчика Богданюка. Старик приходил в дымину пьяный. Говорил всегда одно и то же. Что прокладок нет, а если бы и были, так что с того: надо менять всю сантехнику. Икал. Брался достать оборудование за неслыханную, нереальную цену (у Азанчевских и половины того на книжке не было). Видимо, сам не верил в то, что говорил; сумма от раза к разу менялась, оставаясь недоступной. "Вам что, вы старье богатое, старье-голенище!" – говорил Богданюк. Почему голенище? Кончалось тем, что старик своими сивыми, но крепкими руками закручивал кран. Вода временно течь переставала. А хозяин со слесарем садились в кухне за стол, чтобы "раздавить пузырь". Федор Филатович был пьющий – давно и привычно пьющий. Перспектива "раздавить пузырь", да еще в компании, неизменно его вдохновляла.

Водка в доме водилась всегда, чтобы было чем угостить приятеля, если зайдет. Заходили, впрочем, редко. Здеших он не приобрел, а прежних, ленинградских, порастерял. Даже если кто из бывших сослуживцев приедет в командировку, зайдет по старой памяти – так не о чем с ним разговаривать. Дела пароходства, где он проработал много лет, больше его не интересовали. Спросит из вежливости: "Ну, как у вас там?" – а ответа уже не слушает.

Выйдя на пенсию, он стал благодушен, доволен своей судьбой. Получил массу возможностей, раньше, по занятости, недоступных. Например: выпив рюмочку с утра, пойти гулять в городской парк и там на скрипящих гравием дорожках кормить голубей остатками хлеба, заранее размоченными и уложенными в полиэтиленовый мешочек, который так и звался "голубиный". Федор Филатович гордился тем, что у него ни одна крошка хлеба не пропадала. Он наслаждался своей утренней прогулкой, самим процессом неспешного передвижения по городу, сидения на садовой скамейке, слушания разных звуков. Эти звуки менялись, смотря по времени года. То это был стук зеленых колючих шаров, падавших с ветвей каштана на влажную землю. То шелестящие переговоры осенних листьев. То оголтелый крик воронья. То треск тонких, остекленелых сучьев под легким весом белки в сереньком, зимнем наряде. Всем этим – и видимым и особенно слышимым – Федор Филатович был неизменно доволен. Он вообще был доволен своей жизнью. Считал, что хорошо ее устроил, переехав из шумного мрачного Ленинграда в этот спокойный прибалтийский город, где родился, где провел раннее детство. А что может быть лучше на свете, чем раннее детство?

Он любил этот город с его никуда не спешащими пешеходами; любил идиллических голубей и белок, любил жену Дашу; любил самого себя лысоватого, седоватого, но не располневшего с годами, а все еще крепкого, как каленый орешек. Одно только стало неприятно последнее время: все чаще появлявшееся онемение ног, ползание в них мурашек (то, что в детстве

они с сестрой Варей называли "в ножке песочек"). Это да еще время от времени навещавшие его головокружения. При быстрой перемене позы (когда он вставал или садился) вдруг весь пейзаж с голубями, белками и каштанами тускнел и начинал съезжать куда-то вбок, в темноту. Длилось это недолго, скоро проходило. А во всем прочем он был для своих лет – тьфу-тьфу! – на редкость здоров. Ни на что не жаловался. Меньше всего – на скуку.

Книг он читать не любил, не вошло у него это в привычку за многие годы, проведенные в плаваниях. Начал свою морскую карьеру радистом, кончил помощником капитана, администратором по пассажирской части.

Пассажиры были в большинстве иностранцы, туристы. Пестрая, разноязыкая толпа. Прямо по Пушкину: "Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний!" Одежд и раздетостей. Плоские девицы в "бикини" с крестиками между грудей. Долговолосые парни в элегантно выношенных джинсах, таких узких, что обтянутые зады словно улыбались на ходу. Страшновато молодежавшие старухи с голубыми волосами и веснушками на тощих руках. Старички миллионеры с себя сознающим прищуром светлых глаз. Темные очки, громкие голоса, фото– и киноаппараты через плечо. Оскалы ртов с одинаковыми у всех, молодых и старых, слишком белыми, слишком ровными зубами. Вывернутые губы женщин... Все это шумело, галдело, смеялось, жаловалось, требовало. Но Федор Филатович в этом человеческом месиве чувствовал себя как рыба в воде.

От природы переимчивый, одаренный прекрасной памятью, он с легкостью усваивал не только языки, но и манеры, акценты, жестикуляцию. С французом он говорил как француз, с итальянцем – как итальянец, и даже пальцы по-итальянски складывал щепоточкой. На каждом из языков (кроме немецкого, знакомого с детства) он знал не слишком-то много слов, но отлично знал ходкие восклицания, модные словесные ужимки и выверты. Умел пошутить, пообещать, расположить к себе. Лучшего заведующего пассажирской частью во всем пароходстве не было. Масса благодарностей, сувениров, летучих, ни к чему не обязывающих дружб.

Начальство его ценило, награждало грамотами, премиями, путевками. Он до сих пор плавал бы, если бы не ноги. Плохо они стали держать его на качающейся палубе.

Было ему уже за шестьдесят – ничего не скажешь, заработал себе человек заслуженный отдых. Проводили с почетом, поднесли модель парохода, на котором плавал последние годы, и подарочный набор коньяков. Сначала с непривычки было скучновато без мелькания причалов, морей, пассажиров. Но скучать-то особенно было некогда: навалился обмен, переезд. Они с Дашей, тоже теперь пенсионеркой, обменяли свою однокомнатную ленинградскую квартиру на здешнюю двухкомнатную в новом районе, со всеми удобствами, с прекрасным видом на море.

Федор Филатович еще с раннего, молочного детства любил это мелкое, серое, линейное море с далеко уходящими валунами, с парусами рыбацких лодок. Каждый раз он с удовольствием глядел в свое широкое, горизонтально вытянутое окно. Далеко справа виднелся порт, где медленно, церемонно, как танцующие журавли, разворачивались погрузочные краны. Любуясь на них, он как бы приобщался к их морской озабоченной деятельности.

Жить ему было не скучно, нет. Он был доволен собой, своей женой Дашей, своей квартирой со свежими обоями, белыми потолками, лифтом, неслышно раздвигавшим и сдвигавшим пневматические двери. А если иной раз и начинало сосать под ложечкой что-то неопределенное, вроде тоски, – помогала водочка. С ее помощью он опять укреплялся в нерушимом благодушии.

С некоторых пор увлекся кулинарным искусством. Купил несколько поваренных книг. Готовил строго по рецептам, не по-женски шалая-валяя. Даша и сама была ничего повариха, но иногда получалось у нее замечательно, а иной раз и есть нельзя. Смеется. Федор Филатович к Дашиной стряпне не придирался. Поищи еще такого мужа! Съест, что ни подай, да еще тарелку корочкой оботрет. После обеда всегда целовал жене руку – маленькую, пухлую, со множеством колец (слабость ее – украшения). Убрал со стола, вымыл посуду, они с Дашей

брались за кроссворды – любимое занятие, в меру интеллектуальное. У Даши был неожиданно большой, больше, чем у него, запас слов. Хотя он наплавался вдоволь, всего повидал, а она сидела сиднем в своей бухгалтерии. Вечером – телевизор, опять вдвоем.

Да, можно сказать, с женой ему повезло. Хороша была в молодости, по-своему хороша и в зрелые годы, и даже под старость. Полненькая женщина с высокой грудью, крутыми бедрами, ногами-бутылочками. Веселая, приветливая. Нрав легкий, смешливый, покладистый. Никогда ни на что не жаловалась, не грустила, звенела себе колокольчиком. Он ее называл "моя сто-граммовая гирька". Не за вес, разумеется, за нрав.

Хорошо, что когда-то, много лет назад, ушел к Даше от первой жены, Клавдии. Собственно, не он ушел – сама Клавдия его прогнала. Горячая, смуглая, волевая. Жена-собственница, жена-властелин. Узнав из перехваченного письма, что муж давно уже живет с Дашей, устроила скандал до небес. Била посуду. Надавала ему пощечин – он только увертывался, прикрывая лицо, – берег зубы... Рука у Клавдии была тяжелая. Думал, обойдется; не обошлось. Развелась, уехала и двух сыновей с собой увезла. Даже от алиментов отказалась. Вот это характер!

А ведь роман с Дашей был у него далеко не первый. Женщины всегда его любили, а он им позволял себя любить, лениво обмахиваясь ресницами. Ресницы-то сохранились на удивление, до сих пор, до старости. Головой облысел, лицом увял, а ресницы – как у тех зверюшек в мультфильмах. Большие, хлопающие, неправдоподобные.

Даша любила его ресницы. "Ты мое простейшее, реснитчатое!" – говорила она в минуты нежности. До сих пор были у них минуты нежности... В глазах жены Федор Филатович был красив вечно. Как в тот день, когда они встретились много лет назад. Весь заграничный, нарядный, грустно-веселый. И женщины таяли от томных взглядов его больших глаз с ресницами-опахалами. Уже чуточку пооблысел, пообтерся, но все еще был хорош. Недостаток волос искусно скрывал начесанной сбоку прядью...

2

А женщин было у него множество. И каждую из них по-своему любил. Умел их различать, а они это ценят. Теперь, лежа без движения, глядя в потолок, где праздно гуляла вверх ногами муха, он от нечего делать, нечего думать иногда пытался вспомнить их всех. Сосчитать по пальцам. Пальцы не слушались, он мысленно загибал их и считал в уме. Сбивался и начинал снова. Женщин было куда больше, чем пальцев на обеих руках.

Для чего ему это было нужно? Сам не знал. Инвентаризация. Перед проверкой. Перед смертью, что ли? Ну нет!

Женщин было много. А основных – три. Клавдия. Даша. Лиза.

Клавдия – первая жена. Даша – вторая и последняя. Лиза – вообще не жена. Любовь. Любовь юности. Давно это было.

Девушкой Клавдия была прелестна с своей смуглой грацией и широким в висках, кошачьим лицом. Клавдию он любил по-настоящему. Любил, но боялся. Настолько боялся, что в конце концов разлюбил.

Даша – это он сам. Даша – его жизнь.

Лиза? Ну, это что-то совсем особое. Когда он о ней думал, что-то подступало к горлу, щипало в носу.

А ведь, строго говоря, не была красива. Стройная, солдатообразная, на полголовы выше его, с прямыми, спортивно развернутыми плечами. С удивительной прямоотой серого взгляда. Нос короткий, тоже прямой, к концу заостренный. Чуть-чуть вздернутый. Ни косметики, ни завивки. Вся как есть. Волосы прямые, русые, стриженные в скобку. Неправильные, друг на друга лезущие зубы.

Лиза была замечательна тем, что видела его насквозь. До конца понимала – и все же любила. Другие, включая Дашу, любили, обманывая себя, не до конца понимая. Клавдия – та, поняв, ушла.

Лиза – физкультурница, баскетболистка. В те давние времена девушки-спортсменки носили не трусики, а шаровары. Какой-то фантастический пузырь вокруг бедер. Широчайшие, сборчатые. Довольно безобразно, но Лизе шаровары шли. В них она была красивее, чем в платьях.

Зажмурившись, он видел ее в синих шароварах и черно-белой вдоль тела полосатой футболке. Стоя на носках мускулистых ног, закидывала мяч в корзину. Футболка шнуровалась крест-накрест тесемкой, вроде ботиночной, у стройной, высокой шеи, от которой чудесно пахло. Не духами, а своим каким-то чистым и честным девичьим запахом. Было отчетливо видно, как повыше ключицы под белой невинной кожей бьется-пульсирует голубая жилка...

Все знала, видела его насквозь и все же любила.

Если бы кто-нибудь заставил замолчать этот кран на кухне! Позвать Богданюка...

Где-то он читал (а может быть, слышал) об изошренной восточной пытке. Человека связывают, лишают возможности двигаться и льют ему на голову тонкую струйку воды. Днем и ночью, не прекращая ни на минуту. Через некоторое время человек сходит с ума и в конце концов умирает...

"Этим краном они сговорились свести меня с ума, – думал Федор Филатович. – Свести с ума, сжить со света, убить!" "Они" – это здоровые, ходячие, благополучные, которых в такие минуты он ненавидел. Всех, включая Дашу. Тоже здоровая, тоже ходячая...

"Я больше не могу, понимаете, не могу!" – кричал он, выкрикивал внутри себя, но язык и губы не слушались, звуки не покидали рта. Пытаясь пробить немоту, он изо всех сил кричал: "Кран!" Получался один хриплый звук "а!". Не "кран", но все-таки "а!". Могли бы понять! Но

Даша не понимала. "Что тебе, милый? Пить? Подушку поправить?" Он гневно, отрицательно мычал, почти хрюкал. Иступленно повторял свое "а!". Без результата.

Лиза – та поняла бы. Она его понимала во всем, до конца. Читала его мысли. Даже игра такая у них была: "Хочешь, скажу тебе, о чем ты сейчас думаешь?" И говорила. Зря он тогда, в юности, на ней не женился. Жизнь пошла бы совсем иначе. Впрочем, о чем сейчас жалеть. Лизы давно нет. Погибла на фронте в отряде лыжниц. Даже если б он тогда женился... Хотя кто знает? Может быть, не погибла бы...

Эти ночи наедине с краном! Кто бы знал, как они его мучили! Крадущиеся, пепельные, безликие. Не сразу он понял, почему так остро, мучительно возненавидел кран.

Это был не просто неисправный кухонный кран. Это был дух зла. Он не просто точил, он расточал, бесчинствовал. Много ночей прошло, пока Федор Филатович не увидел за краном подлинный предмет своей ненависти. Кран олицетворял пустое, праздное, бездумное расточительство. Перевод ценностей – в отходы, полезного – в сор, дряг.

Вода была ценностью. В городе, разросшемся за последние годы, ее не хватало. В верхние этажи она поступала нерегулярно: нет-нет, да и выключат. А тут из крана днем и ночью течет вода – и никому, решительно никому нет дела. В Федоре Филатовиче гневался и бушевал хозяин.

Кран становился в ряд с другими примерами бесхозяйственности, глупой, преступной. Сжигаемая во дворах деревянная тара. Списанная с парохода мебель, которая вполне могла бы еще служить, – но ее, по каким-то дурацким правилам, нельзя было ни взять себе, ни подарить, ни продать. Можно было только уничтожить, превратить в дым, золу. А выбрасываемые из окон на асфальт вполне еще пригодные раковины? Унитазы? Кухонные плиты? Все это, превращаясь в мусор, кучами загромождало жизнь. Туда же, в отбросы, шли овощи, гниющие на полях, на складах. Яблоки в урожайный год. Полиэтиленовые мешки. Консервные банки. Уродливые уцененные товары: женские шляпы, которые можно увидеть разве в кошмарном сне; жесткая, бесформенная обувь – железный башмак...

В ночном воображении Федора Филатовича (одурманенное снотворным, оно колебалось на грани бреда) кучи мусора окружали его, душили. Выброшенная фаянсовая раковина давила на грудь. Он барахтался в мусоре, разгребал его, не мог одолеть. Пытаясь выбраться из отходов (они-то и были его болезнью!), он порывался встать, некоторые мышцы еще работали, но только перекатывался к краю тахты и валился на пол...

Приходила Даша, поднимала его (он был худ и легкий, но все же слишком тяжел для ее немолодых рук, усталого сердца), снова укладывала, поила с ложечки... Хотела и не могла понять: что же его так мучает? И опять он, пытаясь пробиться, кричал свое "а!", все меньше надеясь, что его поймут.

Нет, все-таки не такое уж ясное было сознание. Он путался даже во временах года. Была сейчас зима? Осень? Неясно. Солнца, во всяком случае, не было. Солнце бы он различил. На всем лежал мутный, мусорный, сероватый оттенок. В любое время дня. Даже вечером, когда зажигали лампу с оранжевым абажуром. Сероватым было и Дашино лицо, как будто не совсем чистое, угнетенное возрастом. И потолок уже не был бел. Порой ему казалось, что и Даша – уже не Даша, а неряшливая кучка мусора. Он ужасался, не чувствуя в себе привычной любви. Любовь к Даше многие годы была частью его самого. Разрушился он – и любовь разрушилась. "Опомнись, это же Даша!" – говорил он себе, но упорная нелюбовь ворочалась внутри. Когда Даша уходила из дому – в магазин, в аптеку, – ему даже становилось легче. Но если она долго не возвращалась, он пугался. Как маленький ребенок без мамы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.